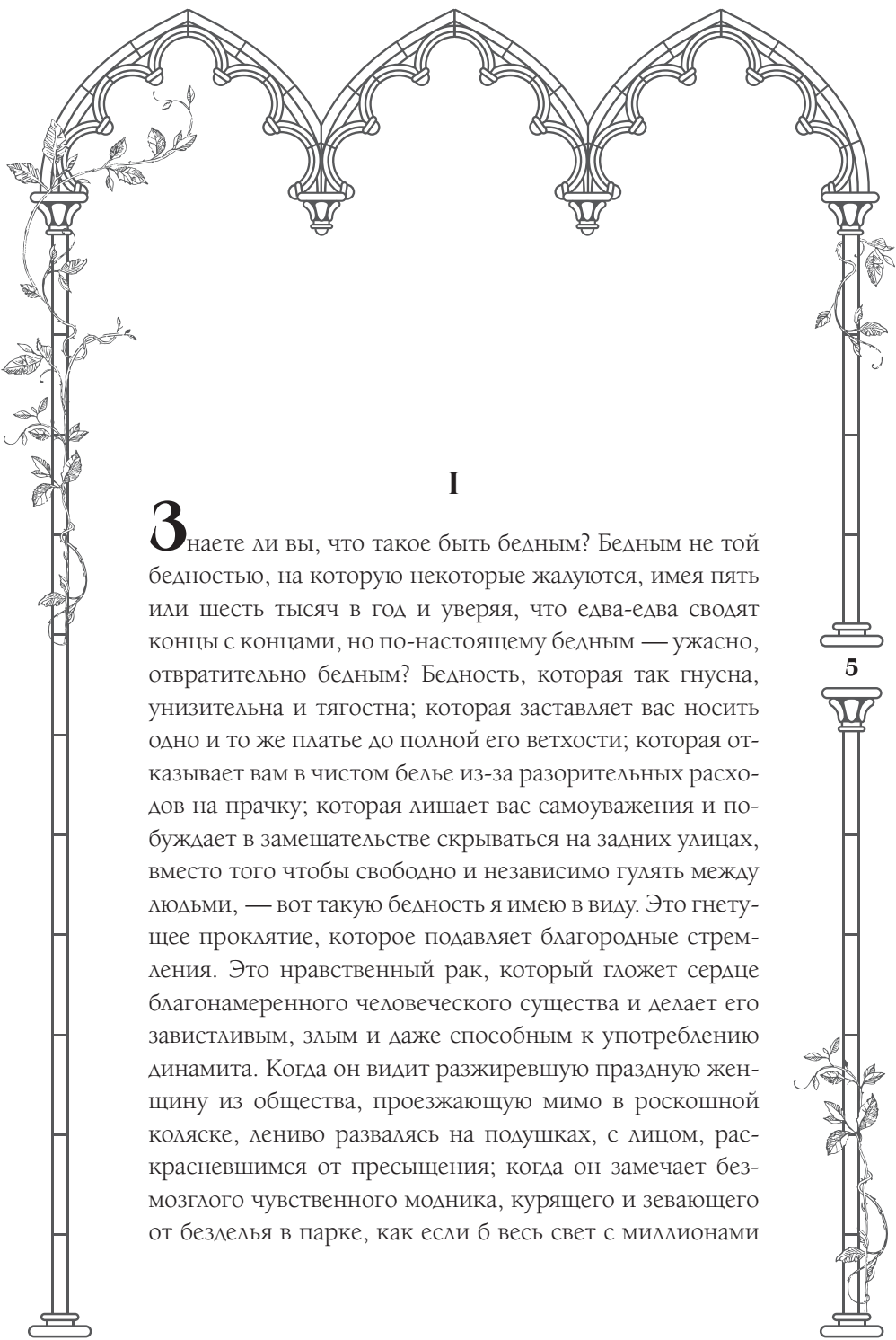
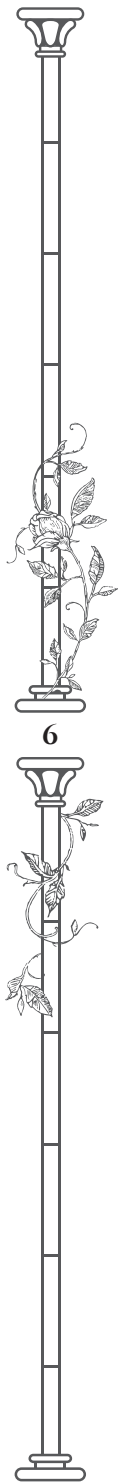






I

Знаете ли вы, что такое быть бедным? Бедным не той бедностью, на которую некоторые жалуются, имея пять или шесть тысяч в год и уверяя, что едва-едва сводят концы с концами, но по-настоящему бедным — ужасно, отвратительно бедным? Бедность, которая так гнусна, унижительна и тягостна; которая заставляет вас носить одно и то же платье до полной его ветхости; которая отказывает вам в чистом белье из-за разорительных расходов на прачку; которая лишает вас самоуважения и побуждает в замешательстве скрываться на задних улицах, вместо того чтобы свободно и независимо гулять между людьми, — вот такую бедность я имею в виду. Это гнетущее проклятие, которое подавляет благородные стремления. Это нравственный рак, который гложет сердце благонамеренного человеческого существа и делает его завистливым, злым и даже способным к употреблению динамита. Когда он видит разжиревшую праздную женщину из общества, проезжающую мимо в роскошной коляске, лениво развалиясь на подушках, с лицом, покрасневшим от пресыщения; когда он замечает безмозглого чувственного модника, курящего и зевающего от безделья в парке, как если б весь свет с миллионами



честных тружеников был создан исключительно для развлечения так называемых «высших» классов, — тогда его кровь превращается в желчь и страдающая душа возмущается и вопиет:

— За что такая несправедливость, о Господи? Почему недостойный ротозей имеет полные карманы золота, доставшиеся случайно или по наследству, тогда как я, работая без устали с утра до ночи, едва в состоянии заплатить за обед?

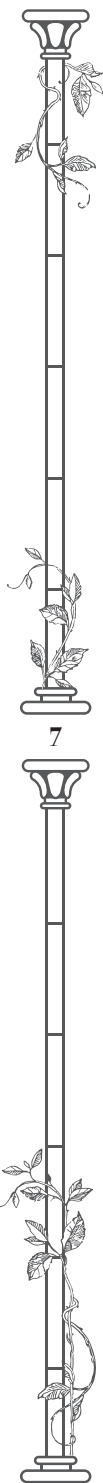
Почему, в самом деле? Отчего бы сорной траве не цвести, как зеленому лавру? Я часто об этом думал. Тем не менее теперь мне кажется, что я могу разрешить задачу на своем личном опыте. Но... на каком опыте! Кто поверит этому? Кто поверит, что нечто такое странное и страшное выпало на долю смертного? Никто. Между тем это правда — более правдивая, чем многое, называемое правдой. Впрочем, я знаю, что многие люди живут в таких же условиях, под точно таким же давлением, сознавая, может быть, временами, что они опутаны пороком, но они слишком слабы волей, чтобы разорвать сети, в которые добровольно попали. Я даже сомневаюсь: примут ли они во внимание данный мне урок? В той же суровой школе, тем же грозным учителем? Познают ли они тот обширный, индивидуальный, деятельный разум, который не переставая, хотя и безгласно, работает? Познают ли они Вечного действительного Бога, как я принужден был это сделать всеми фибрами моего умозрения? Если так, то темные задачи станут для них ясными и то, что кажется несправедливостью на свете, окажется справедливым!

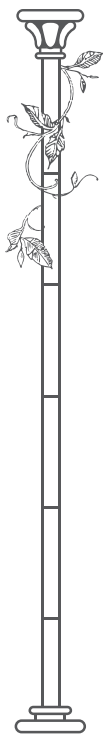
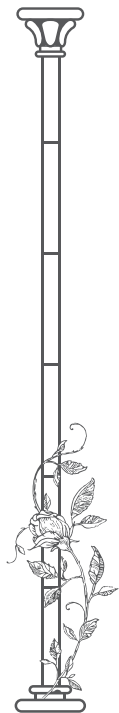
Но я не пишу с какой-либо надеждой убедить или просветить моих собратьев. Я слишком хорошо знаю их упрямство; я могу судить по своему собственному. Было время, когда мою гордую веру в самого себя не могла поколебать какая-нибудь человеческая единица на земном шаре. И я вижу, что и другие настроены подобным образом. Я просто намерен рассказать различные случаи из моей жизни — по

порядку, как они происходили, — предоставляя более само-надеянным умам задавать и разрешать загадки человеческого существования.

В одну жестокую зиму, памятную ее полярной суровостью, когда громадная холодная волна распространила свою леденящую силу не только на счастливые Британские острова, но и на всю Европу, я, Джефффри Темпест, был один в Лондоне, почти умирая с голоду. Теперь голодающий человек редко возбуждает сочувствие, так как немногие поверят ему. Состоятельные люди, только что поевшие до пресыщения, — самые недоверчивые; многие из них даже улыбаются, когда им рассказывают про голодных бедняков, точно это шутка, придуманная для послеобеденного развлечения; или с раздражающим невниманием, настолько характерным для модной публики, что, задав вопрос, они не ждут ответа, а получив его, не понимают, эти плотно пообедавшие господа, услышав о каком-нибудь несчастном, умирающем от голода, рассеянno пробормочут: «Как это ужасно!» — и сейчас же возвратятся к обсуждению последней новости, чтоб убить время, прежде чем оно убьет их своею скукой. «Быть голодным» звучит грубо и вульгарно для высшего общества, которое всегда ест больше, чем следует.

В тот период, о котором идет речь, я, с некоторых пор сделавшийся одним из людей, вызывающих наибольшую зависть, узнал жестокое значение слова «голод» слишком хорошо: грызущая боль, болезненная слабость, мертвенное оцепенение, ненасытность животного, молящего о пище, — все эти ощущения достаточно страшны для тех, кто, по несчастию, день ото дня подготовлялся к ним, но, может быть, они много более для того, кто получил нежное воспитание и считал себя «джентльменом». И я чувствовал, что не заслуживаю страданий нищеты, в которой очутился. Я много работал. После смерти моего отца, когда я узнал, что все его воображаемое состояние принадлежало кредиторам и что от нашего имения не осталось ничего, кроме драгоценной





миниатюры моей матери, потерявшей жизнь, произведя меня на свет, — с того времени, говорю я, мне пришлось трудиться с раннего утра до поздней ночи. Мое университетское образование я применил к литературе, к которой, как мне казалось, имел призвание. Я искал себе занятий почти в каждой лондонской газете. Во многих редакциях мне отказывали, в некоторых брали на испытание, но нигде не обещали постоянной работы.

Каждый, кто ищет заработка одной лишь головой и пером, в начале этой карьеры ощущает себя своего рода социальным изгоем. Он никому не нужен, все его презирают. Его стремления осмеяны, его рукописи возвращаются ему непрочитанными, и о нем меньше заботятся, чем об осужденном убийце в тюрьме. Убийца по крайней мере одет и накормлен, почтенный священник навещает его, а тюремщик иногда не прочь даже сыграть с ним в карты. Но человек, одаренный оригинальными мыслями и способный выражать их, считается худшим из преступников, и его, если б могли, затолкали бы до смерти.

Я переносил в угрюмом молчании и пинки, и удары, и продолжал жить — не из любви к жизни, но единственно потому, что презирал трусость самоуничтожения. Я был еще слишком молод, чтоб легко расстаться с надеждой. У меня была смутная идея, что и мой черед настанет, что вечно вращающееся колесо фортуны в один прекрасный день поднимет меня, как теперь понижает, оставляя мне лишь возможность для продолжения существования, — это было прозябание, и больше ничего. Наконец я получил работу в одном хорошо известном литературном издании. Тридцать романов в неделю присылались мне для критики. Я приобрел привычку рассеянно пробегать восемь или десять из них и писал столбец громовых ругательств, интересуясь только этими, случайно выбранными, остальные же оставались без внимания. Такой образ действий оказался удачным, и я поступал так некоторое время, чтобы понравиться моему редактору,